

Машенька

Автор:

Владимир Набоков

Машенька

Владимир Владимирович Набоков

Вниманию читателя предлагается первый и наиболее автобиографичный роман всемирно известного русско-американского писателя, одного из крупнейших прозаиков XX века, автора знаменитой «Лолиты» Владимира Набокова.

«Машенька» (1926) – книга о «странностях воспоминанья», о прихотливом переплетении жизненных узоров прошлого и настоящего, о «восхитительном событии» воскрешения главным героем – живущим в Берлине русским эмигрантом Львом Ганиным – истории своей первой любви. Роман, действие которого охватывает всего шесть дней и в котором совсем немного персонажей, обретает эмоциональную пронзительность и смысловую глубину благодаря страстной силе ганинской (и авторской) памяти, верной иррациональным мгновениям прошлого.

Владимир Набоков

Машенька

Посвящаю моей жене

...Вспомня прежних лет романы,

Вспомня прежнюю любовь...

Пушкин

– Лев Глево... Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно...

– Можно, – довольно холодно подтвердил Ганин, стараясь разглядеть в неожиданной темноте лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положением, в которое они оба попали, и этим вынужденным разговором с чужим человеком.

– Я неспроста осведомился о вашем имени, – беззаботно продолжал голос. – По моему мнению, всякое имя...

– Давайте я опять нажму кнопку, – прервал его Ганин.

– Нажимайте. Боюсь, не поможет. Так вот: всякое имя обязывает. Лев и Глеб – сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. У меня имя поскромнее; а жену зовут совсем просто: Мария. Кстати, позвольте представиться: Алексей Иванович Алферов. Простите, я вам, кажется, на ногу наступил...

– Очень приятно, – сказал Ганин, нащупывая в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. – А как вы думаете, мы еще тут долго проторчим? Пора бы что-нибудь предпринять. Чорт...

– Сядем-ка на лавку да подождем, – опять зазвучал над самым его ухом бойкий и докучливый голос. – Вчера, когда я приехал, мы с вами столкнулись в коридоре. Вечером, слышу, за стеной вы прокашлялись, и сразу по звуку кашля решил: земляк. Скажите, вы давно живете в этом пансионе?

– Давно. Спички у вас есть?

– Нету. Не курю. А пансионат грязноват, – даром что русский. У меня, знаете, большое счастье: жена из России приезжает. Четыре года – шутка ль сказать... Да-с. А теперь недолго ждать. Нынче уже воскресенье.

– Тьма какая... – проговорил Ганин и хрустнул пальцами. – Интересно, который час...

Алферов шумно вздохнул; хлынул теплый, вялый запах не совсем здорового, пожилого мужчины. Есть что-то грустное в таком запахе.

– Значит, осталось шесть дней. Я так полагаю, что она в субботу приедет. Вот я вчера письмо от нее получил. Очень смешно она адрес написала. Жаль, что такая темень, а то показал бы. Что вы там щупаете, голубчик? Эти оконца не открываются.

– Я не прочь их разбить, – сказал Ганин.

– Бросьте, Лев Глебович; не сыграть ли нам лучше в какое-нибудь пти-жо? Я знаю удивительные, сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число. Готово?

– Увольте, – сказал Ганин и бухнул раза два кулаком в стенку.

– Швейцар давно почивает, – всплыл голос Алферова, – так что и стучать бесполезно.

– Но согласитесь, что мы не можем всю ночь проторчать здесь.

– Кажется, придется. А не думаете ли вы, Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече? Будучи еще на terra firma [1 - Твердая почва (лат.)], мы друг друга не знали, да так случилось, что вернулись домой в один и тот же час и вошли в это помещенье вместе. Кстати сказать, – какой тут пол тонкий! А под ним – черный колодец. Так вот, я говорил: мы молча вошли сюда, еще не зная друг друга, молча поплыли вверх и вдруг – стоп. И наступила тьма.

– В чем же, собственно говоря, символ? – хмуро спросил Ганин.

– Да вот, в остановке, в неподвижности, в темноте этой. И в ожиданье. Сегодня за обедом этот, – как его... старый писатель... да, Подтягин... – спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожиданья. Вы сегодня тут не обедали, Лев Глебович?

– Нет. Был за городом.

– Теперь – весна. Там, должно быть, приятно.

Голос Алферова на несколько мгновений пропал, и, когда снова возник, был неприятно певуч, оттого что, говоря, Алферов, вероятно, улыбался:

– Вот когда жена моя приедет, я тоже с нею поеду за город. Она обожает прогулки. Мне хозяйка сказала, что ваша комната к субботе освободится?

– Так точно, – сухо ответил Ганин.

– Совсем уезжаете из Берлина?

Ганин кивнул, забыв, что в темноте кивок не виден. Алферов поерзал на лавке, раза два вздохнул, затем стал тихо и сахаристо посвистывать. Помолчит и снова начнет. Прошло минут десять; вдруг наверху что-то щелкнуло.

– Вот это лучше, – усмехнулся Ганин.

В тот же миг вспыхнула в потолке лампочка, и вся загудевшая, поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был в старом, балахонистом, песочного цвета пальто, – как говорится, демисезонном, – и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах – в золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф.

Лифт тряско зацепился за порог четвертой площадки, остановился.

– Чудеса, – заулыбался Алферов, открыв дверь... – Я думал, кто-то наверху нас поднял, а тут никого и нет. Пожалуйста, Лев Глебович; за вами.

Но Ганин, поморщившись, легонько вытолкнул его и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцей. Никогда он раньше не бывал так раздражителен.

– Чудеса, – повторял Алферов, – поднялись, а никого и нет. Тоже, знаете, – символ...

2

Пансион был русский и притом неприятный. Неприятно было главным образом то, что день-деньской и добрую часть ночи слышны были поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то. Прихожая, где висело темное зеркало с подставкой для перчаток и стоял дубовый баул, на который легко было наскочить коленом, суживалась в голый, очень тесный коридор. По бокам было по три комнаты с крупными, черными цифрами, наклеенными на дверях: это были просто листочки, вырванные из старого календаря, – шесть первых чисел апреля месяца. В комнате первоапрельской – первая дверь налево – жил теперь Алферов, в следующей – Ганин, в третьей – сама хозяйка, Лидия Николаевна Дорн, вдова немецкого коммерсанта, лет двадцать тому назад привезшего ее из Сарепты и умершего в позапрошлом году от воспаления мозга. В трех номерах направо – от четвертого по шестое апреля – жили: старый российский поэт Антон Сергеевич Подтягин, Клара – полногрудая барышня с замечательными синевато-карими глазами, – и наконец – в комнате шестой, на сгибе коридора, – балетные танцовщики Колин и Горноцветов, оба по-женски смешливые, худенькие, с припудренными носами и мускулистыми ляжками. В конце первой части коридора была столовая, с литографической «Тайной Вечерью» на стене против двери и с рогатыми желтыми оленьими черепами по другой стене, над пузатым буфетом, где стояли две хрустальных вазы, бывшие когда-то самыми чистыми предметами во всей квартире, а теперь потускневшие от пушистой пыли. Дойдя до столовой, коридор сворачивал под прямым углом направо: там дальше, в трагических и неблагоприятных дебрях, находились кухня, каморка для прислуги, грязная ванная и туалетная келья, на двери которой было два пунцовых нуля, лишенных своих законных десятков, с которыми они составляли некогда два разных воскресных дня в настольном календаре господина Дорна. Спустя месяц после его кончины Лидия Николаевна, женщина маленькая, глуховатая и не без странностей, наняла пустую квартиру и обратила ее в пансион, выказав при этом необыкновенную, несколько жуткую, изобретательность в смысле распределения всех тех немногих предметов обихода, которые ей достались в наследство. Столы, стулья, скрипучие шкафы и ухабистые кушетки разбрелись по комнатам, которые она собралась сдавать, и, разлучившись таким образом

друг с другом, сразу поблекли, приняли унылый и нелепый вид, как кости разобранного скелета. Письменный стол покойника, дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком, оказался в первом номере, где жил Алферов, а вертящийся табурет, некогда приобретенный со столом этим вместе, сиротливо отошел к танцорам, жившим в комнате шестой. Чета зеленых кресел тоже разделилась: одно скучало у Ганина, в другом сживала сама хозяйка или ее старая такса, черная, толстая сучка с седою мордочкой и висячими ушами, бархатными на концах, как бахрома бабочки. А на полке, в комнате у Клары, стояло ради украшения несколько первых томов энциклопедии, меж тем как остальные тома попали к Подтягину. Кларе достался и единственный приличный умывальник с зеркалом и ящиками; в каждом же из других номеров был просто плотный поставец, и на нем жестяная чашка с таким же кувшином. Но вот кровати пришлось прикупить, и это госпожа Дорн сделала скрепя сердце, не потому что была скупа, а потому что находила какой-то сладкий азарт, какую-то хозяйственную гордость в том, как распределяется вся ее прежняя обстановка, и в данном случае ей досадно было, что нельзя распилить на нужное количество частей двухспальную кровать, на которой ей, вдове, слишком просторно было спать. Комнаты она убирала сама, да притом кое-как, стряпать же вовсе не умела и держала кухарку – грозу базара, огромную рыжую бабищу, которая по пятницам надевала малиновую шляпу и катила в северные кварталы промышлять своею соблазнительной тучностью. Лидия Николаевна в кухню входить боялась, да и вообще была тихая, пугливая особа. Когда она, семеня тупыми ножками, пробегала по коридору, то жильцам казалось, что эта маленькая, седая, курносая женщина вовсе не хозяйка, а так, просто, глупая старушка, попавшая в чужую квартиру. Она складывалась как тряпичная кукла, когда по утрам быстро собирала щеткой сор из-под мебели, – и потом исчезала в свою комнату, самую маленькую из всех, и там читала какие-то потрепанные немецкие книжонки или же просматривала бумаги покойного мужа, в которых не понимала ни аза. Один только Подтягин заходил в эту комнату, поглаживал черную ласковую таксу, пощипывал ей уши, бородавку на седой мордочке, пытался заставить собачку подать кривую лапу и рассказывал Лидии Николаевне о своей стариковской, мучительной болезни и о том, что он уже давно, полгода, хлопочет о визе в Париж, где живет его племянница и где очень дешево длинные хрустящие булки и красное вино. Старушка кивала головой, иногда спрашивала его о других жильцах и в особенности о Ганине, который ей казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей, перебивавших у нее в пансионе. Ганин, прожив у нее три месяца, собирался теперь съезжать, сказал даже, что освободит комнату в эту субботу, но собирался он уже несколько раз, да все откладывал, перерешал. И Лидия Николаевна со слов старого мягкого поэта знала, что у Ганина есть

подруга. В том-то и была вся штука.

За последнее время он стал вял и угрюм. Еще так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках, стройно вскинув ноги и двигаясь подобно парусу, умел зубами поднимать стул и рвать веревку на тугом бицепсе. В его теле постоянно играл огонь – желанье перемахнуть через забор, расшатать столб, словом – ахнуть, как говорили мы в юности. Теперь же ослабла какая-то гайка, он стал даже горбиться, и сам признавался Подтягину, что «как баба» страдает бессонницей. Плохо он спал и в ту ночь с воскресенья на понедельник, после двадцати минут, проведенных с развязным господином в застрявшем лифте. В понедельник утром он долго просидел нагишом, сцепив между колен протянутые холодноватые руки, ошеломленный мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны – всю эту потом и пылью пропитанную дрянь, – и думал о цирковом пуделе, который выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты жалким. Отчасти эта вялость происходила от безделья. Особенно трудиться ему сейчас не приходилось, так как за зиму он накопил некоторую сумму, от которой, впрочем, оставалось теперь марок двести, не больше: эти три последних месяца обошлись дороговато.

В прошлом году, по приезде в Берлин, он сразу нашел работу и потом до января трудился – много и разнообразно: знал желтую темноту того раннего часа, когда едешь на фабрику; знал тоже, как ноют ноги после того, как десять извилистых верст пробежишь с тарелкой в руке между столиков в ресторане «Pir Goroі»; знал он и другие труды, брал на комиссию все, что подвернется, – и бублики, и бриллиантин, и просто бриллианты. Не брезговал он ничем: не раз даже продавал свою тень подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку, за город, где в балаганном сарае с мистическим писком закипали светом чудовищные фацеты фонарей, наведенных, как пушки, на мертвенно-яркую толпу статистов, палили в упор белым убийственным блеском, озаряя крашеный воск застывших лиц, щелкнув, погасали, – но долго еще в этих сложных стеклах дотлевали красноватые зори – наш человеческий стыд. Сделка была совершена, и безымянные тени наши пущены по миру.

Оставшихся денег было бы достаточно, чтобы выехать из Берлина. Но для этого пришлось бы порвать с Людмилой, а как порвать – он не знал. И хотя он поставил себе сроком неделю и объявил хозяйке, что окончательно решил съехать в субботу, Ганин чувствовал, что ни эта неделя, ни следующая не изменят ничего. Меж тем тоска по новой чужбине особенно мучила его именно весной. Окно его выходило на полотно железной дороги, и потому возможность

уехать дразнила неотвязно. Каждые пять минут сдержанным гулом начинал ходить дом, затем громада дыма вздымалась перед окном, заслоняя белый берлинский день, медленно расплывалась, и тогда виден был опять веер полотна, суживающийся вдаль, между черных задних стен, словно срезанных, домов, и над всем этим небо, бледное, как миндальное молоко.

Ганину было бы легче, если бы он жил по ту сторону коридора, в комнате Подтягина, Клары или танцоров; окна там выходили на скучноватую улицу, поперек которой висел, правда, железнодорожный мост, но где не было зато бледной, заманчивой дали. Мост этот был продолженьем рельс, видимых из окна Ганина, и Ганин никогда не мог отделаться от чувства, что каждый поезд проходит незримо сквозь толщу самого дома: вот он вошел с той стороны, призрачный гул его расшатывает стену, толчками пробирается он по старому ковру, задевает стакан на ручке, уходит наконец с холодным звоном в окно, – и сразу за стеклом вырастает туча дыма, спадает, и виден городской поезд, изверженный домом: тускло-оливковые вагоны с темными сучьими сосками вдоль крыш и куцый паровоз, что, не тем концом прицепленный, быстро пятится, оттягивает вагоны в белую даль между слепых стен, сажная чернота которых местами облупилась, местами испещрена фресками устарелых реклам. Так и жил весь дом на железном сквозняке.

«Уехать бы», – тоскливо потягивался Ганин и сразу осекался: а как же быть-то с Людмилой? Ему было смешно, что он так обмяк. В прежнее время (когда он ходил на руках или же прыгал через пять стульев) он умел не только управлять, но и играть силой своей воли. Бывало, он упражнял ее, заставлял себя, например, встать с постели среди ночи, чтобы выйти на улицу и бросить в почтовый ящик окурочек. А теперь он не мог заставить себя сказать женщине, что он ее больше не любит. Третьего дня она пять часов просидела у него; вчера, в воскресенье, он целый день провел с нею на озерах под Берлином, не мог ей отказать в этой дурацкой поездке. Ему теперь все противно было в Людмиле: желтые лохмы, по моде стриженные, две дорожки невыбранных темных волосков сзади на узком затылке, томная темнота век, а главное – губы, покрашенные до лилового лоску. Ему противно и скучно было, когда после схватки механической любви она, одеваясь, щурилась, отчего глаза ее сразу делались неприятно-мохнатыми, и говорила: «Я, знаешь, такая чуткая, что отлично замечу, как только ты станешь любить меня меньше». Ганин не отвечал, отворачивался к окну, где выростала белая стена дыма, и тогда она посмеивалась в нос и глуховатым шепотком подзывала: «Ну, поди сюда...» Тогда ему хотелось заломить руки, так, чтобы сладко и тоскливо хрустнули хрящи, и спокойно сказать ей: «Убирайся-ка, матушка, прощай». Вместо этого он улыбался,

склонялся к ней. Она бродила острыми, словно фальшивыми, ногтями по его груди и выпучивала губы, моргала угольными ресницами, изображая, как ей казалось, обиженную девочку, капризную маркизу. Он чувствовал запах ее духов, в котором было что-то неопрятное, несвежее, пожилое, хотя ей самой было всего двадцать пять лет. Он дотрагивался губами до ее маленького, теплого лба, и тогда она все забывала – ложь свою, которую она, как запах духов, всюду влачила за собой, ложь детских словечек, изысканных чувств, орхидей каких-то, которые она будто бы страстно любит, каких-то По и Бодлеров, которых она не читала никогда, забывала все то, чем думала пленить, и модную желтизну волос, и смугловатую пудру, и шелковые чулки пороссячьего цвета, – и всем своим слабым, жалким, ненужным ему телом припадала к Ганину, закинув голову.

И, тоскуя и стыдясь, он чувствовал, как бессмысленная нежность – печальная теплота, оставшаяся там, где очень мимолетно скользнула когда-то любовь, – заставляет его прижиматься без страсти к пурпурной резине ее поддающихся губ, но нежностью этой не был заглушен спокойный насмешливый голос, ему советовавший: «А что, мол, если вот сейчас отшвырнуть ее?».

Вздохнув, он с тихой улыбкой глядел на ее поднятое лицо и ничего не мог ей ответить, когда, вцепившись ему в плечи, она летучим каким-то голосом – не тем прежним носовым шепотком – молила, вся улетала в слова: «Да скажи ты мне наконец – ты меня любишь?» Но, заметив что-то в его лице – знакомую тень, невольную суровость, – она опять вспоминала, что нужно очаровывать – чуткостью, духами, поэзией, – и принималась опять притворяться то бедной девочкой, то изысканной куртизанкой. И Ганину становилось скучно опять, он шагал вдоль комнаты от окна к двери и обратно, до слез позевывал, и она, надевая шляпу, искоса в зеркало наблюдала за ним.

Клара, полногрудая, вся в черном шелку, очень уютная барышня, знала, что ее подруга бывает у Ганина, и ей становилось тоскливо и неловко, когда та рассказывала ей о своей любви. Кларе казалось, что эти чувства должны быть тише, без ирисов и скрипичных вскриков. Но еще невыносимее было, когда подруга, щурясь и выпуская сквозь ноздри папиросный дым, начинала ей передавать еще не остывшие, до ужаса определенные подробности, после которых Клара видела чудовищные и стыдные сны. И последнее время она избегала Людмилу из боязни, что подруга вконец ей испортит то огромное и всегда праздничное, что зовется смазливый словом «мечта». Острое, несколько надменное лицо Ганина, его серые глаза с блестящими стрелками,

расходящимися вокруг особенно крупных зрачков, и густые, очень темные брови, составлявшие, когда он хмурился или внимательно слушал, одну сплошную черную черту, но зато распахивавшиеся, как легкие крылья, когда редкая улыбка обнажала на миг его прекрасные, влажно-белые зубы, эти резкие черты так нравились Кларе, что она в его присутствии терялась, говорила не так, как говорить бы хотела, да все похлопывала себя по каштановой волне прически, наполовину прикрывавшей ухо, или же поправляла на груди черные складки, отчего сразу у нее выдавалась вперед нижняя губа и намечался второй подбородок. Впрочем, с Ганиным она встречалась не часто, раз в день за обедом, и только однажды ужинала с ним и с Людмилой в той скверной пивной, где он по вечерам ел сосиски с капустой или холодную свинину. За обедом в унылой пансионной столовой она сидела против Ганина, так как хозяйка разместила своих жильцов приблизительно в том же порядке, в каком находились их комнаты: таким образом, Клара сидела между Подтягиным и Горноцветовым, а Ганин между Алферовым и Колиным. Маленькая, черная, меланхолически-чопорная фигура самой госпожи Дорн в конце стола, между обращенных друг к другу через стол профилей напудренных, жеманных танцоров, которые быстро-быстро с какими-то птичьими ужимками заговаривали с ней, казалась очень неуместной, жалкой и потерянной. Она сама говорила мало, стесненная своей легкой глухотой, и только следила, чтобы громадная Эрика вовремя приносила и уносила тарелки. И то и дело ее крошечная, морщинистая рука, как сухой лист, взлетала к висячему звонку и спадала опять, мелькнув блеклой желтизной.

Когда в понедельник, около половины третьего, Ганин вошел в столовую, все уже были в сборе. Алферов, увидя его, приветливо улыбнулся, привстал, но Ганин руки не подал и, молча кивнув, занял свое место рядом с ним, заранее проклиная прилипчивого соседа. Подтягин, опрятный скромный старик, который не ел, а кушал, шумно присасывая и придерживая левой рукой салфетку, заткнутую за воротник, посмотрел поверх стекол пенснэ на Ганина и потом с неопределенным вздохом снова принялся за суп. Ганин в минуту откровенности как-то рассказал ему о тяжелой Людмилиной любви и теперь жалел об этом. Колин, его сосед слева, передал ему с дрожащей осторожностью тарелку супу и при этом взглянул на него так вкрадчиво, так улыбнулись его странные, с поволокой, глаза, что Ганину стало неловко. Меж тем справа уже бежал маслом смазанный тенорок Алферова, возражавшего на что-то сказанное Подтягиным, сидевшим против него.

- Напрасно хааете, Антон Сергеевич. Культурнейшая страна. Не чета нашей сторонущке.

Подтягин ласково блеснул стеклами и обратился к Ганину:

– Поздравьте меня, сегодня мне прислали визу. Прямо хоть орденскую ленту надевай да к президенту в гости.

У него был необыкновенно приятный голос, тихий, без всяких повышений, звук мягкий и матовый. Полное, гладкое лицо, с седую щеточкой под самой нижней губой и с отступающим подбородком, было как будто покрыто сплошным красноватым загаром, и ласковые морщинки отходили от ясных, умных глаз. В профиль он был похож на большую поседевшую морскую свинку.

– Очень рад, – сказал Ганин. – Когда же вы едете?

Но Алферов не дал старику ответить и продолжал, дергая по привычке шеей, тощей, в золотистых волосках, с крупным прыгающим кадыком:

– Я советую вам здесь остаться. Чем тут плохо? Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша, та – просто загогулина. Мне очень нравится здесь: и работать можно, и по улицам ходить приятно. Математически доказываю вам, что если уже где-нибудь житье-бытье...

– Но я же говорю вам, – мягко прервал Подтягин, – горы бумаг, гроба картонные, папки, папки без конца! Полки под ними так и ломаются. И полицейский чиновник, пока отыскал мою фамилию, чуть не подох от натуги. Вы вообще не можете себе и представить (при словах «и представить» Подтягин тяжело и жалобно повел головой), сколько человеку нужно перестрадать, чтобы получить право на выезд отсюда. Одних бланков сколько я заполнил. Сегодня уж думал – стукнут мне выездную визу... Куда там... Послали сниматься, а карточки только вечером будут готовы.

– Очень все правильно, – закивал Алферов, – так и должно быть в порядочной стране. Тут вам не российский кавардак. Вы обратили внимание, например, что на парадных дверях написано? «Только для господ». Это знаменательно. Вообще говоря, разницу между, скажем, нашей страной и этой можно так выразить: вообразите сперва кривую, и на ней...

Ганин, не слушая дальше, обратился к Кларе, сидевшей против него:

– Меня вчера просила Людмила Борисовна вам передать, чтоб вы ей позвонили, как только вернетесь со службы. Это насчет кинематографа, кажется.

Клара растерянно подумала: «Как он это так просто говорит о ней... Ведь он знает, что я знаю...»

Она спросила ради приличия:

– Ах, вы ее вчера видели?

Ганин удивленно двинул бровями и продолжал есть.

– Я не совсем понимаю вашу геометрию, – тихо говорил Подтягин, осторожно счищая ножиком хлебные крошки себе в ладонь. Как большинство стареющих поэтов, он был склонен к простой человеческой логике.

– Да как же, это так ясно, – взволновался Алферов, – вообразите...

– Не понимаю, – твердо повторил Подтягин и, откинув слегка голову, всыпал собранные крошки себе в рот.

Алферов быстро развел руками, сшиб стакан Ганина:

– Ах, извините!..

– Пустой, – сказал Ганин.

– Вы не математик, Антон Сергеич, – суетливо продолжал Алферов. – А я на числах, как на качелях, всю жизнь прокачался. Бывало, говорил жене: раз я математик, ты мать-и-мачеха...

Горноцветов и Колин залились тонким смехом. Госпожа Дорн вздрогнула, испуганно посмотрела на обоих.

– Одним словом: цифра и цветок, – холодно сказал Ганин. Только Клара улыбнулась. Ганин стал наливать себе воды, все смотрели на его движение.

– Да, вы правы, нежнейший цветок, – протяжно сказал Алферов, окинув соседа своим блестящим, рассеянным взглядом. – Прямо чудо, как она пережила эти годы ужаса. Я вот уверен, что она приедет сюда цветущая, веселая... Вы – поэт, Антон Сергеевич, опишите-ка такую штуку – как женственность, прекрасная русская женственность, сильнее всякой революции, переживает все – невзгоды, террор...

Колин шепнул Ганину: «Вот он опять... Вчера уже только и было речи, что об его жене...»

«Экий пошляк, – подумал Ганин, глядя на движущуюся бородку Алферова, – а жена у него, верно, шустрая... Такому не изменять – грех...»

– Сегодня – барашек, – провозгласила вдруг Лидия Николаевна деревянным голоском, исподлобья глядя, как жильцы ее невнимательно едят жаркое. Алферов почему-то поклонился и продолжал:

– Напрасно, батюшка, не берете такой темы. – (Подтягин мягко, но решительно мотал головой.) – Может быть, когда увидите мою жену, то поймете, что я хочу сказать... Кстати, она очень любит поэзию. Столкнетесь. И я вам вот еще что скажу...

Колин, украдкой, отбивал такт, искоса посматривая на Алферова. Горноцветов тихо покатывался со смеху, глядя на палец своего друга.

– А главное, – все тараторил Алферов, – ведь с Россией – кончено. Смыли ее, как вот, знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже...

– Однако... – усмехнулся Ганин.

– Не любо слушать, Лев Глебович?

– Не любо, но не мешаю, Алексей Иванович.

– Что же, вы тогда считаете, может быть, что...

– Ах, господа, – своим матовым, чуть шепелявым голосом перебил Подтягин, – без политики. Зачем политика?

– А все-таки мсье Алферов не прав, – неожиданно вставила Клара и проворно поправила прическу.

– Ваша жена приезжает в субботу? – через весь стол невинным голосом спросил Колин, и Горноцветов прыснул в салфетку.

– В субботу, – ответил Алферов, отставляя тарелку с недоеденной бараниной. Его глаза, заблеставшие было воинственным огоньком, сразу задумчиво погасли.

– Знаете что, Лидия Николаевна, – сказал он, – мы вчера с Глеб Львовичем в лифте застряли.

– Компот, – ответила госпожа Дорн, – грушевый.

Танцоры расхохотались. Эрика, толкая боками локти сидевших за столом, стала убирать тарелки. Ганин тщательно свернул салфетку, втиснул ее в кольцо и встал. Сладкого он не ел.

«Тощища какая... – думал он, возвращаясь в свою комнату. – И что мне теперь делать? Выйти погулять, что ли?..»

Этот день его, как и предыдущие, прошел вяло, в какой-то безвкусной праздности, лишенной мечтательной надежды, которая делает праздность прелестной. Бездействие теперь его тяготило, а дела не было. Подняв воротник старого макинтоша, купленного за один фунт у английского лейтенанта в Константинополе, и крепко засунув кулаки в карманы, он медленно, вразвалку, пошатался по бледным апрельским улицам, где плыли и качались черные купола зонтиков, и долго смотрел в витрину пароходного общества на чудесную модель Мавритании, на цветные шнуры, соединяющие гавани двух материков на большой карте. И в глубине была фотография тропической рожи – шоколадного цвета пальмы на бледно-коричневом небе.

Он с час попивал кофе, сидя у чистого огромного окна, и смотрел на прохожих. Вернувшись домой, он пробовал читать, но то, что было в книге, показалось ему

таким чужим и неуместным, что он бросил ее посередине придаточного предложения. На него нашло то, что он называл «рассеянье воли». Он сидел не шевелясь перед столом и не мог решить, что ему делать: переменить ли положение тела, встать ли, чтобы пойти вымыть руки, отворить ли окно, за которым пасмурный день уже переходил в сумерки... Это было мучительное и страшное состояние, несколько похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда, уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть словно навсегда слипшиеся веки. Так и Ганин чувствовал, что мутные сумерки, которыми постепенно наливалась комната, заполняют его всего, претворяют самую кровь в туман, что нет у него сил пресечь сумеречное наваждение. А сил не было потому, что не было у него определенного желанья, и мученье было именно в том, что он тщетно искал желанья. Он не мог принудить себя протянуть руку к лампе, чтобы включить свет. Ему казался невысказанным чудом этот простой переход от намеренья к его осуществленью. Ничто не украшало его бесцветной тоски, мысли ползли без связи, сердце билось тихо, белье докучливо липло к телу. То казалось ему, что вот сейчас нужно написать к Людмиле письмо, твердо объяснить ей, что пора прервать этот тусклый роман, то вспоминалось ему, что вечером нужно с ней идти в кинематограф, и почему-то было гораздо труднее решиться позвонить, чтобы отказаться от сегодняшней встречи, нежели написать письмо, и потому он не мог исполнить ни того, ни другого.

А сколько раз уже он клялся себе, что завтра же с нею порвет, придумывал без труда нужные выражения, но никак не мог себе представить вот ту последнюю минуту, когда пожмет ей руку и спокойно выйдет из комнаты. Вот это движение – повернуться, уйти – казалось невысказанным. Он был из породы людей, которые умеют добиваться, достигать, настигать, но совершенно не способны ни к отречению, ни к бегству, – что в конце концов одно и то же. Так мешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека, способного в другое время на всякие творческие подвиги, на всякий труд и принимающегося за этот труд жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь.

Он не знал, какой толчок извне должен произойти, чтобы дать ему силы порвать трехмесячную связь с Людмилой, так же как не знал, что именно должно случиться, чтобы он мог встать со стула. Очень недолго продолжалось подлинное его увлечение, то состояние его души, при котором Людмила ему представлялась в обольстительном тумане, состоянии ищущего, высокого, почти неземного волненья, подобное музыке, играющей именно тогда, когда мы делаем что-нибудь совсем обыкновенное – идем от столика к буфету, чтобы расплатиться, – и превращающей это наше простое движение в какой-то

внутренний танец, в значительный и бессмертный жест.

Эта музыка смолкла в тот миг, когда ночью, на тряском полу темного таксомотора, Людмила ему отдалась, и сразу все стало очень скучным – женщина, поправлявшая шляпу, что съехала ей на затылок, огни, мелькавшие мимо окон, спина шофера, горой черневшая за передним стеклом.

Теперь приходилось расплачиваться за эту ночь трудным обманом, продолжать эту ночь без конца и бессильно, безвольно предаваться ее ползучей тени, которая теперь насытила все углы комнаты, превратила мебель в облака. Он впал в туманную дремоту, подперев лоб ладонью и странно вытянув под столом одеревеневшие ноги.

.....

А потом, в кинематографе, стало людно и жарко. Очень долго молча, без музыки, по экрану мелькали крашенные рекламы, рояли, платья, духи. Наконец заиграл оркестр, и началась драма.

Людмила была весела необычайно. Она пригласила Клару пойти вместе, оттого что отлично чувствовала, что той нравится Ганин, и хотела доставить удовольствие и ей, и самой себе, щегольнуть своим романом и умением его скрывать. Клара же согласилась пойти, оттого что знала, что Ганин в субботу собирается уезжать, и между прочим удивлялась, что Людмила словно об этом не знает, – или, может быть, нарочно ничего не говорит, а уедет с ним вместе.

Ганин, сидевший между ними, был раздражен тем, что Людмила, как большинство женщин ее типа, все время, пока шла картина, говорила о посторонних вещах, перегибалась через колени Ганина к подруге, обдавая его каждый раз холодным, неприятно-знакомым запахом духов. Меж тем картина была занимательная, прекрасно сделанная.

– Послушайте, Людмила Борисовна, – не выдержал наконец Ганин, – перестаньте шептать. Уже немец за мной сердится.

Она в темноте быстро глянула на него, откинулась, посмотрела на сияющее полотно:

– Я ничего не понимаю, сплошная чепуха какая-то.

– Вольно было вам шептать, – сказал Ганин. – Немудрено, что ничего не понимаете.

На экране было светящееся, сизое движение: примадонна, совершившая в жизни своей невольное убийство, вдруг вспоминала о нем, играя в опере роль преступницы, и, выкатив огромные неправдоподобные глаза, валилась навзничь на подмости. Медленно проплыла зала театра, публика рукоплещет, ложи и ряды встают в экстазе одобренья. И внезапно Ганину померещилось что-то смутно и жутко знакомое. Он с тревогой вспомнил грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в зловещий фиолетовый цвет, ленивых рабочих, вольно и равнодушно, как синие ангелы, переходивших с балки на балку высоко наверху или наводивших слепительные жерла юпитеров на целый полк россиян, согнанный в громадный сарай и снимавшийся в полном неведении относительно общей фабулы картины. Он вспомнил молодых людей в поношенных, но на диво сшитых одеждах, лица дам в лиловых и желтых разводах грима и тех безобидных изгнанников, старичков да невзрачных девиц, которых сажали в самую глубину, лишь для заполнения фона. Теперь внутренность того холодного сарая превратилась на экране в уютный театр, рогожа стала бархатом, нищая толпа – театральной публикой. Он напряг зрение и с пронзительным содроганьем стыда узнал себя самого среди этих людей, хлопавших по заказу, и вспомнил, как они все должны были глядеть вперед, на воображаемую сцену, где никакой примадонны не было, а стоял на помосте, среди фонарей, толстый рыжий человек без пиджака и до одури орал в рупор.

Двойник Ганина тоже стоял и хлопал, вон там, рядом с чернобородым, очень эффектным господином, с лентой поперек белой груди. Он попадал всегда в первый ряд за эту вот бородку и крахмальное белье, а в перерывах жевал бутерброд, а потом, после съемки, надевал поверх фрака убогое пальтишко и ехал к себе домой, в отдаленную часть Берлина, где работал наборщиком в типографии.

И Ганин в этот миг почувствовал не только стыд, но и быстротечность, неповторимость человеческой жизни. Там, на экране, его худощавый облик, острое, поднятое кверху лицо и хлопавшие руки исчезли в сером круговороте других фигур, а еще через мгновение зал, повернувшись как корабль, ушел, и теперь показывали пожилую, на весь мир знаменитую актрису, очень искусно изображавшую мертвую молодую женщину. «Не знаем, что творим», – с

отвращением подумал Ганин, уже не глядя на картину.

Людмила снова шепталась с Кларой – о какой-то портнихе, материи, – драма подходила к концу, и Ганину было смертельно скучно. Когда через несколько минут они пробирались к выходу, Людмила к нему прижалась, шепнула: «Позвоню тебе завтра в два, миленький...»

Ганин и Клара проводили ее до дому и потом вместе пошли в свой пансион. Ганин молчал, и Клара мучительно старалась найти тему для разговора.

– Вы, говорят, в субботу уезжаете? – спросила она.

– Не знаю, ничего не знаю... – хмуро ответил Ганин.

Он шел и думал, что вот теперь его тень будет странствовать из города в город, с экрана на экран, что он никогда не узнает, какие люди увидят ее и как долго она будет мыкаться по свету. И когда потом он лег в постель и слушал поезда, насквозь проходившие через этот унылый дом, где жило семь русских потерянных теней, – вся жизнь ему представилась той же съемкой, во время которой равнодушный статист не ведает, в какой картине он участвует.

Ганин не мог уснуть; в ногах бегали мурашки, и подушка мучила голову. И среди ночи, за стеной, его сосед Алферов стал напевать. Сквозь тонкую стену слышно было, как он шлепает по полу, то близясь, то удаляясь, и Ганин лежал и злился. Когда прокатывала дрожь поезда, голос Алферова смешивался с гулом, а потом снова всплывал: ту-у-у, ту-ту, ту-у-у.

Ганин не выдержал. Он натянул штаны, вышел в коридор и кулаком постучал в дверь первого номера. Алферов, среди блуждания своего, оказался как раз против двери и сразу отпахнул ее, так что Ганин даже вздрогнул от неожиданности.

– Пожалуйте, Лев Глебович, милости просим.

Он был в сорочке и подштанниках, золотистая бородка слегка растрепалась – оттого, верно, что он песенки выдувал, – и в бледно-голубых глазах так и металось счастье.

– Вы вот поете, – сказал Ганин, сдвинув брови, – а мне это мешает спать.

– Да входите же, голубчик, что это вы, право, на пороге топчетесь, – засуетился Алексей Иванович, неловко и ласково беря Ганина за талию. – Простите великодушно, если мешал.

Ганин неохотно вошел в комнату. В ней было очень мало вещей и очень много беспорядка. Один из двух стульев, вместо того чтобы стоять у письменного стола (той дубовой махины, на которой была чернильница в виде большой жабы), забрел было в сторону маленького умывальника, но на полпути остановился, видимо спотыкнувшись об отвернутый край зеленого коврика. Другой стул, что стоял у постели и служил ночным столиком, исчезал под черным пиджаком, павшим на него словно с Арарата, так он тяжело и рыхло сел. На дубовой пустыне стола, а также на постели разбросаны были тонкие листы. На этих листах Ганин мельком заметил карандашные чертежи, колеса, квадраты, сделанные без всякой технической точности, а так, кое-как, ради препровождения времени. Сам Алферов в своих теплых подштанниках, делающих всякого мужчину, будь он строен как Адонис и изящен как Бруммель, необыкновенно непривлекательным, уже опять расхаживал среди этого комнатного бурелома, щелкая ногтем то по зеленому колпаку настольной лампы, то по спинке стула.

– Я страшно рад, что вы наконец ко мне заглянули, – говорил он, – сам-то я не в состоянии спать. Подумайте, – в субботу моя жена приезжает. А завтра уже вторник... Бедняжка моя, представляю, как она измучилась в этой проклятой России!

Ганин, который хмуро разглядывал шахматную задачу, набросанную на одном из листов, валявшихся на постели, вдруг поднял голову:

– Как вы сказали?

– Приезжает, – бойко щелкнул ногтем Алферов.

– Нет, не то... Как вы про Россию сказали?

– Проклятая. А что, разве не правда?

– Нет, так, – занятный эпитет.

– Эх, Лев Глебович, – остановился вдруг посреди комнаты Алферов. – Полно вам большевика ломать. Вам это кажется очень интересным, но, поверьте, это грешно с вашей стороны. Пора нам всем открыто заявить, что России капут, что «богоносец» оказался, как, впрочем, можно было ожидать, серой сволочью, что наша родина, стало быть, навсегда погибла.

Ганин рассмеялся:

– Конечно, конечно, Алексей Иванович.

Алферов помазал ладонью сверху вниз по блестящему лицу и улыбнулся вдруг широкой мечтательной улыбкой:

– Отчего вы не женаты, дорогой мой. А?

– Не пришлось, – отвечал Ганин. – Это весело?

– Роскошно. Моя жена – прелесть. Брюнетка, знаете, глаза такие живые... Совсем молоденькая. Мы женились в Полтаве, в девятнадцатом году, а в двадцатом мне пришлось бежать: вот здесь у меня в столе карточки, – покажу вам.

Он снизу, согнутой пятерней, вытолкнул широкий ящик.

– Чем вы тогда были, Алексей Иванович? – без любопытства спросил Ганин.

Алферов покачал головой:

– Не помню. Разве можно помнить, чем был в прошлой жизни, – быть может, устрицей или, скажем, птицей, а может быть, учителем математики. Превжняя жизнь в России так и кажется мне чем-то довременным, метафизическим, или, как это... другое слово, – да, – метампсихозой...

Ганин довольно равнодушно рассматривал снимок в открытом ящике. Это было лицо растрепанной молодой женщины с веселым, очень зубастым ртом. Алферов

наклонился через его плечо:

– Нет, это не жена, это моя сестрица. От тифа умерла, в Киеве. Хорошая была, хохотунья, мастерица в пятнашки играть...

Он придвинул другой снимок:

– А вот это Машенька, жена моя. Плохая фотография, но все-таки похоже. А вот другая, в саду нашем снято. Машенька – та, что сидит в светлом платье. Четыре года не видел ее. Но не думаю, чтобы особенно изменилась. Прямо не знаю, как доживу до субботы... Стойте... Куда вы, Лев Глебович? Посидите еще!..

Ганин, глубоко засунув руки в карманы штанов, шел к двери.

– Лев Глебович! Что с вами? Обидел я вас чем-нибудь? – Дверь захлопнулась. Алферов остался стоять один посреди комнаты. – Все-таки... какой невежа, – пробормотал он. – Что за муха его укусила?

3

В эту ночь, как всегда, старичок в черной пелерине брел вдоль самой панели по длинному пустынному проспекту и тыкал острием сучковатой палки в асфальт, отыскивая табачные кончики – золотые, пробковые и просто бумажные, – а также слоистые окурки сигар. Изредка, вскрикнув оленьим голосом, промахивал автомобиль, или случалось то, что ни один городской пешеход не может заметить, – падала, быстрее мысли и беззвучнее слезы, звезда. Ярче, веселее звезд были огненные буквы, которые высыпали одна за другой над черной крышей, семенили гуськом и разом пропадали во тьме.

«Неужели... это... возможно...» – огненным осторожным шепотом проступали буквы, и ночь одним бархатным ударом смахивала их. «Неужели... это...» – опять начинали они, крадясь по небу.

И снова наваливалась темнота. Но они настойчиво разгорались и наконец, вместо того чтобы исчезнуть сразу, остались сиять на целых пять минут, как и

было условлено между бюро электрических реклам и фабрикантом.

Впрочем, чорт его знает, что на самом деле играло там, в темноте, над домами, световая ли реклама, или человеческая мысль, знак, зов, вопрос, брошенный в небо и получающий вдруг самоцветный, восхитительный ответ.

А по улицам, ставшим широкими, как черные блестящие моря, в этот поздний час, когда последний кабак закрывается и русский человек, забыв о сне, без шапки, без пиджака, под старым макинтошем, как ясновидящий, вышел на улицу блуждать, – в этот поздний час по этим широким улицам расхаживали миры друг другу неведомые – не гуляка, не женщина, не просто прохожий, – а наглухо заколоченный мир, полный чудес и преступлений. Пять извозчичьих пролеток стояли вдоль бульвара рядом с огромным барабаном уличной уборной, – пять сонных, теплых, седых миров в кучерских ливреях, и пять других миров на больных копытах, спящих и видящих во сне только овес, что с тихим треском льется из мешка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/vladimir-nabokov/mashenka/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Твердая почва (лат.).

Купить: <https://tellnovel.com/vladimir-nabokov/mashenka-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)